

Пыпина (отголоски юбилея)//Русские ведомости. 1903. № 94; Юбилей А. Н. Пыпина//Киевская старина. 1903, май. Т. 81. С. 102—105.

¹⁰ Архангельский А. Труды академика А. Н. Пыпина в области истории русской литературы; Кораблев В. Н. Академик А. Н. Пыпин и славянский вопрос//Вестник АН СССР. 1933. № 8—9. С. 67—78; Мельц М. Я. Пыпин — исследователь фольклора зарубежных славян//Русский фольклор. Вып. 8. М.; Л., 1963; Ткаченко П. С. Новые материалы об А. Н. Пыпине//Русская литература. 1967. № 4. С. 119—121.

¹¹ Пиксанов Н. К. Указ. раб. С. 224.

¹² Там же. С. 227.

¹³ Глинский Б. Указ. раб. С. 23; Мельц М. Я. Указ. раб. С. 263.

¹⁴ Лаптева Л. П. Указ. раб. С. 108.

¹⁵ Пиксанов Н. К. Академик А. Н. Пыпин//Вестник АН СССР. 1933. № 4. С. 42.

¹⁶ Сакулин А. Н. Указ. раб. С. 113.

¹⁷ Каталог журнала «Вестник Европы» за 25 лет, 1866—1890 гг., с алфавитным указателем имен авторов. СПб., 1891.

¹⁸ Сакулин А. Н. Указ. раб. С. 120.

¹⁹ Цит. по: Сакулин А. Н. Указ. раб. С. 114.

²⁰ См.: Лаптева Л. П. Указ. раб. С. 102—114.

²¹ Пыпин А. Н. История русской литературы. Т. I. СПб., 1898. С. 54.

²² Архангельский А. Труды академика А. Н. Пыпина... С. 108.

²³ Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т. I. СПб., 1890. С. 15.

²⁴ Пыпин А. Н. Мои заметки//Вестник Европы. 1905, февраль. С. 493—494.

²⁵ Соболевский А. Рец. на: А. Н. Пыпин. История русской этнографии. Т. I—II. СПб., 1890—1891//Журнал Министерства народного просвещения. 1891, февраль (№ 2). С. 413.

²⁶ Соболевский А. Указ. раб. С. 414.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же. С. 419.

²⁹ Там же. С. 430.

³⁰ См.: Токарев С. А. История русской этнографии. М., 1966. С. 278.

³¹ Как понимать этнографию?//Современник. 1865. № 2. С. 179.

Alexandr Nikolayevich Pypin and His Place in Russian Historiography

The paper is a biographical essay of the A. N. Pypin's contribution to Russian historiography, literary criticism and Slavic studies.

T. D. Solovei

© 1994 г., ЭО, № 4

А. Н. Пы п и н

КАК ПОНИМАТЬ ЭТНОГРАФИЮ?

(посвящается «Дню»)

Господин в мундире. Да, тривиально, тривиально!

(Гоголь, «Разъезд»)

Выставленный вопрос можно бы, по-видимому, считать не требующим особенных объяснений, когда наша литература только и говорит, что об изучении народа, наполняется множеством этнографических описаний, очерков, рассказов и т. п., и когда газетные патриоты на каждом десятом слове ссылаются на народные интересы и выдают себя за настоящих истолкователей национальных свойств и истинных желаний и потребностей народа. По-видимому, народ должен быть достаточно изучен и понятия об этнографии должны быть совер-

шенно ясны. Ведь предмет этнографии именно и есть изучение бытовых особенностей народа.

На деле оказывается, однако, что понятия об этнографии чрезвычайно смутны даже и у тех господ, которые по преимуществу воображают себя вернейшими блюстителями и знатоками народного интереса, и которым многие верят в простоте душевной. Эти господа все еще не могут понять, что этнографическое изучение может (и должно) обнимать и объяснять по возможности все стороны народного быта и представлений, и что такое изучение вовсе не обязывается быть голословным и оптовым панегириком; что в жизни народа, как и в жизни общества, есть свои темные стороны, которые можно объяснять тем или другим способом, но которым можно, пожалуй, и не сочувствовать, — скрывать же эти темные стороны этнография никак не может, если только хочет остаться сколько-нибудь добросовестной.

Мы говорим это по поводу статейки «Дня» (№ 4) об этнографических очерках Кадниковского уезда, помещенных в одной из последних книжек «Современника» прошлого года. Собственно говоря, мы могли бы оставить в покое статейку «Дня» и предоставить ее на собственное суждение всякого благоразумного читателя; но, к сожалению, подобные статейки составляют у нас вовсе не исключение, а довольно обыкновенный образец ходячих понятий, так что на них, пожалуй, стоит остановиться.

Но сначала мы сделаем некоторое отступление.

Газета «День» весьма скорбит о превратных мнениях «Современника», которых он держится «с постоянством, достойным лучшей цели». «Дню» без сомнения и прилично скорбеть об этом, хотя, собственно говоря, он мог бы быть и несколько рассудительнее. Кое-что он действительно видит верно в нашей литературе, и должен был бы меньше печалиться о мнениях «Современника», если бы мог рассуждать немного последовательнее. Что «День» видит кое-что, можно заключить, например, из следующего. «День» скорбит о мнениях «Современника» потому в особенности, что настоящее время очень бы нуждалось в таких самостоятельных органах, «которые бы противились все более и более распространяющемуся у нас в литературе какому-то казарменному духу, которые бы не давали ей обратиться сплошь в игру свободных артистов на темы самые избитые». Еще больше, по-видимому, чем о превратном направлении «Современника», «День» печалится этим последним явлением современной литературы, и желание воспротивиться казарменному духу, распространяющемуся в литературе, без сомнения, делает честь «Дню». До какой степени «День» чувствует такое желание, можно видеть, например, из следующей тирады о «свободных артистах»: «Я бы назвал их патриотами-шулерами, — говорит про известный сорт людей автор сатиры «Физиономии и Силы», когда-то помещенной в «Русском Вестнике», — я бы назвал их патриотами-шулерами, но общество давно предупредило меня, дав им прозвание «благонамеренных». Едва ли можно бы привести пример иронии еще сильнейшей против той, которая слышится здесь в этом сопоставлении шулерства с благонамеренностью! Однако ж, как ни сильна ирония, она приходится, без всякого преувеличения, только как раз по мерке тому явлению в нашем обществе, которое ее вызвало. Да, нам слишком знакома эта затхлая благонамеренность, чтоб останавливаться еще на ее изъяснении для читателя... Мы хотим только сказать, что недавно еще для всех позорная, всеми обличенная и не смевшая никуда показаться с своим опороченным лицом... в наши, настоящие дни, она опять подымает голову, она начинает опять смело величаться, она, гордо подбочениваясь, указывает на самую нашу литературу, как будто в ней себе нашла теперь надежную опору и кричит *vae victis!* Кто бы они ни были в нашей текущей литературе эти вольные или невольные одобрители этой глупости, кто бы ни служил для нее сознательной или бессознательной поддержкой, — а грустного факта отрицать нельзя. Да, в нынешней литературе действительно находят себе приют и в ней слышат себе рукоплескания такие борцы, которые посовестились бы себя публично высказы-

вать тому два, три года; не краснея выказывают себя нараспашку нынче такие тенденции, которым было бы всего приличнее устыдиться самих себя и по-тупиться долу...»

Нет сомнения, что есть много сознательных или бессознательных одобрителей, поддерживающих эту «затхлую благонамеренность», и можно даже спросить, не найдется ли таких, по крайней мере бессознательных, одобрителей в самом «Дне»? Нам кажется, что найдется. В числе свойств, отличающих всегда эту благонамеренность, есть между прочим свойство доктора Панглоса, который находил, что обитает в наилучшем из всех возможных миров, живет в наилучшем из всех возможных замков и т. д. Этим свойством благонамеренность почти всегда очень удачно воевала против всякого другого мнения. Например, у нас благонамеренность сороковых годов находила, что тульские ножички — лучшие из ножичков, что гостинодворские товары — лучшие из товаров и т. п. Теперешняя благонамеренность рассуждает в сущности в том же смысле, но идет уже гораздо дальше и находит, что, например, наш крестьянин или, так называемый «мужичок», был (до освобождения) счастливейшим из крестьян, и даже намекает, что было бы не худо, кроме личной зависимости, освободить теперь этого крестьянина и от земли, стесняющей его «экономическую свободу». Известно, что этот благонамеренный оптимизм, находивший, что мы живем в наилучшем из миров, доходил до чрезвычайных размеров, и известно также, что мера ему не положена и до сих пор, так что он может удивить нас еще большими подвигами. «Дню», вероятно, известно, в чем заключается причина возможности столь обширного распространения этого оптимизма, — например, в грубых инстинктах, предрассудках и невежестве общества, которое способно, пожалуй, поверить пользе освобождения крестьян от земли, предложенного недавно оптимистами. В чем могут состоять, вообще говоря, грубые инстинкты, предрассудки и невежество, мы полагаем, «Дню» также известно.

Между прочим они обнаруживаются в неспособности или неумении рассуждать о вещах, не вмешивая в рассуждение своих, посторонних делу пристрастий, например, рассуждать об этнографии без квасного патриотизма или нелепого идеальничанья. Когда писатель начинает рассуждать подобным образом об общественных и народных вопросах, и встречая противное мнение, не трудится вдуматься в него серьезнее, а прямо осуждает его на основании упомянутых пристрастий, и не входя в рассуждение о деле, закидывает противника ссылками на господствующий предрассудок (для него самого этот предрассудок всегда выгоден), то этот писатель — сознательно или бессознательно — но несомненно служит поддержкой для той затхлой благонамеренности, о которой говорит «День». Иной писатель может поступить таким образом по душевной простоте или по действительному, только незрелому, убеждению, а затхлая благонамеренность пользуется уже делом со всей ловкостью знатока, возводит дело в перл создания и извлекает из него все, что находит для себя нужным. В результате и затхлая благонамеренность, и незрелая простота окажутся одинаково враждебны здравому смыслу, и следовательно одинаково вредны. Мы советуем «Дню» перебрать в своей памяти несколько подобных случаев, на которые ему самому указывалось от времени до времени; если он хочет действительно воспротивиться затхлой благонамеренности, распространяющейся в нашей журналистике, то пусть он не разрушает сам одной рукой того, что строит другой.

Что «Дню» не нравится «Современник», это можно себе представить; но с какой стороны он вздумал теперь нападать на него? Критик «Дня» заявил прежде всего, что «Современник» замечательно проникнут одной идеей и все статьи, даже посторонних авторов, умеет сводить к одному тону и цвету, и затем критик обращается со своими соболезнованиями и осуждениями к «Этнографическим очеркам Кадниковского уезда», выдавая их, конечно, за самые подлинные откровения самой редакции. Мы-де «с жадностью обратились» к статье, в которой

надеялись найти какие-нибудь «новые соображения по весьма интересующему в настоящее время все общество вопросу — русской народности», и что же? — оказывается, что «вся этнография сведена здесь на скандал, и только на один скандал», что автор непременно хотел «всю ширь этнографии приравнять исключительно скандалу, чтобы затем ничего больше и не осталось в уме читателя, пожелавшего ознакомиться с нравами Кадниковского уезда». В самом деле, не ужасно ли это! Даже этнографию «Современник» сводит на скандал, даже в этом серьезном предмете он не может не быть легкомыслен, и даже очень непохвально-легкомыслен. Поэтому — можете, мол, судить об остальном!

Что сказать на это? Признаемся, что ожидая найти в своем читателе человека здравомыслящего, мы не должны были бы обращать внимания на подобные сокрушения «Дня», но именно ввиду той затхлой благонамеренности, о которой говорено выше словами самого «Дня», и которая действительно находит слишком легковверных людей, пожалуй, не лишним будет остановиться на объяснении этого предмета. Уровень нашей литературы до такой степени понизился, что в ней действительно слышат себе рукоплескания такие мнения, которые, пожалуй, посовестились бы публично выказывать себя два, три года тому назад, и это, конечно, заставляет нас повторять вещи, которые можно было бы считать понятными без дальнейших толкований.

«Дню» кажется, что «Современник» как будто с намерением дал этнографическому очерку своего *постороннего* сотрудника такую форму, которая бы сделала из этнографии один скандал, и только один скандал. «День» положительно приписывает «Современнику» свойство стусевывать в один, ему свойственный, тон даже статьи «совершенно случайных и посторонних» авторов... Но если статьи «Современника» действительно имеют это внутреннее единство, в этом, конечно, нет ничего особенного; если «Современник» заботится об известном единстве его содержания, то мы полагаем, что то же самое делает и «День», и всякий журнал, имеющий какой-нибудь определенный взгляд на вещи: «День» же не станет печатать у себя статей из «Вести» о сен-симонизме славянофилов или из «Московских Ведомостей» о цензуре. «Современник» просто нашел, что этнографический очерк *постороннего и совершенно случайного* автора не противоречит его взглядам, а посторонний автор очень легко мог более или менее сойтись с этими взглядами, потому что с ними вообще сходятся очень многие посторонние авторы. Этнографическими статьями «Современник» интересуется не со вчерашнего дня и читатели его знают, что статьи с этим характером — в той или другой форме — появляются в нем нередко. В прошлом году он напечатал даже этнографическую статейку об одном вологодском крае, и в том роде, какой собственно нравится «Дню», т. е. несколько скучноватую и сухую, и уже без малейших признаков какого-нибудь скандала. «Этнографические очерки Кадниковского уезда» показали «Современнику» несколько новыми, потому что они брали малотронутую сторону народного быта, изображали ее без всякого сентиментального прикрашивания, и вовсе не намереваясь отыскивать в Кадниковском уезде каких-нибудь особенных национальных добродетелей, представляли подробности быта в их настоящей простоте и даже грубости. «Современник» решился печатать очерки, потому что в них оказывались действительные черты нашего народного быта. Первая статья была напечатана; вторая помещена в нынешней книжке... Автор очерков предвидел, что на него может быть сделано нападение того рода, какое делает теперь газета «День», и оговорился, что цель его рассказа именно передавать настоящую действительность, не прикрашенную фантазией и по возможности не затемненную умолчаниями. Автор имел притом столь скромное понятие о нравах остальных краев нашего отечества, что виденную им действительность считал даже исключительной принадлежностью Кадниковского уезда (мы скажем дальше, что он несколько ошибается в этом), и нашел нужным описать ее, чтобы в своем описании сохранить отечественной этнографии редкую черту народных нравов. Автор не знал, что это черта не такая редкая, — но он едва ли не первый все-таки указывает ее несколько ясно, и во всяком случае поступил

как добросовестный этнограф, указавши ее... Если эти нравы могут показаться несколько «шокирующими» для критиков, имеющих манеры дамы приятной во всех отношениях и вместо «стакан воняет» говорящих, что стакан «дурно ведет себя», — то это уже не вина автора и не вина «Современника»: нравы действительно таковы, и мы ничем не можем помочь неприятному положению критика, тонкостное воспитание которого делает для него неприятными картины быта *de ce bas-peuple*.

Критик положительно не может переварить возможности таких нравов и приписывает их только испорченному воображению автора. «Странен был бы, вероятно, по мнению самого «Современника», — говорит критик, — тот человек, который захотев, например, изучить чистоту семейного начала, положим, в петербургской жизни, отправился бы не в другое место, а на «шпиц-балы» Петербурга, в его подозрительные дома, на все *folle-journées* и вечеринки, которые даются там с целью совершенно специальной. Нет никакого сомнения, что и в трущобах (!) Кадниковского уезда могут существовать своего рода и шпиц-балы, и вечеринки со специальной же целью; но одинаково и там: кто раз пошел туда в качестве гостя, забудь все *строго научные* (да, да!) интересы этнографии, а наперед жди одного скандала». Здесь нужно сделать два замечания. Во-первых: читатель, знающий рассказы, о которых идет дело, помнит без сомнения, что некоторые подробности переданы у автора с некоторым юмором, который слишком естествен по самому свойству предмета; этнография автора не есть этнография ученых цитат и ссылок на индийскую мифологию г. Буслаева, а этнография живых сцен и живых обычаев. Странно было бы требовать, чтобы это описание живых сцен автор передавал какой-нибудь строго научной терминологией: этнография еще не придумала своих технических ученых терминов для многих предметов, о которых идет речь у автора, — чтобы ему можно было не раздражать благовоспитанного критика иным шутивным выражением. Во-вторых: хотя автор собственно и не думал разыскивать и исследовать именно чистоту семейного начала, но критик обнаруживает чрезвычайно наивное невежество (в этнографии), когда думает, что рассказанные автором подробности нравов не дают известных данных и для определения этого сюжета, — как даже и для изучения чистоты семейного начала, например, в Петербурге (или в Москве, все равно, где угодно), несомненно важно знать свойства и статистику шпиц-балов и подозрительных домов. В такой статистике чистота семейного начала может быть изучена весьма основательно — отрицательным путем.

Но главным образом критик обнаруживает свое невежество этнографическое и не этнографическое тем, что описанные нашим автором сцены приравняет к петербургским или московским шпиц-балам и подозрительным домам, и что он с таким высокомерием относится к кадниковским трущобам, как будто даже не желая дать им никакого места в описаниях русского народного быта. Мы не станем, впрочем, особенно спорить с критиком относительно того, какое собственно место занимают в общественно-физиологических отправлениях кадниковские посиделки и петербургские шпиц-балы и как далеки одни от других в этом смысле: это завело бы нас далеко от настоящего предмета... Но критик чрезвычайно ошибается в том, если считает описанные нашим автором кадниковские посиделки только специальным увеселением, для специальной публики. Эти увеселения, т. е. зимние деревенские собрания молодежи, слишком известны, чтобы объяснять их; известно также, что посиделки святочные отличаются особенным весельем, и что на них собирается вовсе не специальная публика, а вообще вся деревенская молодежь обоего пола, которой по преимуществу принадлежат эти увеселения. Что посиделки не только в Кадниковском, но и во многих других уездах нашего отечества, не всегда отличаются особенной сдержанностью и жеманностью обращения, это опять известно каждому, кто читал хоть какие-нибудь статьи об этом предмете, если даже и не имел случая наблюдать его сам. Как народное увеселение, следовательно как черта народных нравов, посиделки могут

с полным правом возбуждать этнографическое любопытство, и чем вернее и ближе к истине они будут описаны, тем больше описание будет полезно для характеристики народных нравов. Нашему автору, лично наблюдавшему этот предмет, показалось (и совершенно справедливо), что известные до сих пор описания мало передают настоящий характер этих увеселений; судя по некоторым описаниям, ему показалось даже, что кадниковские увеселения выходят из ряда вон своими подробностями (мы уже заметили, что это не совсем так и что эти подробности встречаются и в других местах), и он счел нужным дать о них по возможности верное и близкое понятие... Критик «Дня» возопил о скандале.

Спрашивается: неужели даже этнография все еще должна до сих пор стоять на той точке зрения, на какой стоит театральная публика в гоголевском «Разъезде»? Наблюдатель народных обычаев вздумал указать мало известную сторону быта, решил не подражать при этом обыкновенному лицемерию, скрывающему иные непривлекательные или грубые черты народных нравов, и люди, выдающие себя за друзей народа, вопиют против него: «это уже некоторым образом наши общественные раны, которые надо скрывать, а не показывать!» «Нравственность, нравственность страждет!» Подите, толкуйте с ними.

Между тем эти самые кадниковские очерки действительно могли бы навести на любопытные исследования. Наша этнография, как мы уже заметили недавно по поводу изданий географического общества, находится в довольно странном положении. До сей поры она уже собрала значительную массу фактов, хотя большей частью они остаются разбросанными. Кроме старой книги Терещенки «Быт русского народа», до сих пор нет ни одного общего обзора русской народной жизни, даже отдельных сторон ее. В самом собирании материала до сих пор у большинства собирателей и наблюдателей господствует старая рутина тех времен, когда лучшими знатоками русской народности считались Сахаров, Даль и Снегирев. Собиратели записывали песни и сказки, описывали обычаи и поверья, какие попадались на глаза, собирали какие-нибудь особенные слова и т. п., и все это без всякой связи, без всякой общей мысли, которая бы придала определенный смысл этим подробностям. Притом большая часть наблюдений ограничивалась одной внешностью народного быта, почти не заботясь угадывать, какое внутреннее содержание скрывается за его наружными чертами. Несколько позднее этнография взялась объяснять и это внутреннее содержание и опять остановилась на половине пути: она бросилась в археологию, как будто современный народный быт заслуживает внимание только потому, что он представляет интерес для археологии, а не просто потому, что он важен для нас как современный народный быт. Дошло до того, что этнография, разрабатываемая в таком виде, стала терять весь интерес для людей серьезных, которые, конечно, искали в ней не одних следов поклонения Перуну.

И люди серьезные были правы: из-за археологических интересов этнография не должна была забывать современных явлений народного быта и их общественного интереса в настоящую минуту. Отлагая в сторону археологию, мы найдем, однако, что надлежащее изучение народной жизни в состоянии дать множество указаний, имеющих непосредственную важность для современных практических приложений. В формах народного быта, взятых в настоящую минуту, народный взгляд на вещи и состояние народного развития выражаются не археологически, а непосредственно живым образом, и уловить этот взгляд во всех его разнообразных вариациях — составило бы весьма почтенную задачу для новейшей этнографии. Говоря *строго научно*, мы вовсе не можем сказать, чтобы например та приличная этнография, за которую хлопочет «День», достаточно объяснила нам народные взгляды религиозные, общественные и экономические, которые без сомнения и составляют существенный интерес этнографии. *Приличная* этнография, конечно, способна наговорить об этом много ходячих фраз, заимствованных из «Калик Перехожих» г. Бессонова, краткого учебника русской истории г. Устрялова и других авторитетных книг подобного рода, пожалуй также из

«Дня» и «Московских Ведомостей», но мы решаемся думать, что это будут только одни фразы. Правда, эти фразы господствуют безраздельно, почти не встречая противоречий, но это еще не значит, что дело должно считаться порешенным и что противоречия невозможны. Современная беллетристика, которая с таким явным предпочтением обращается теперь к этнографическому изображению народного быта, в своей поэтической объективности уже выставила некоторые черты этого быта, которые совершенно подтверждают возможную силу упомянутых противоречий... В действительности жизнь не совсем соответствует ходячим фразам, и истинные друзья народа стали бы, конечно, заботиться о должном изучении дела, а не поднимать вопли о скандале, как это делает газета «День». В этом случае газета поступает именно так, как делает затхлая благонамеренность, против которой газета восстает с таким усердием и — наивностью.

Критик «Дня» как великое преступление указывает в рассказах нашего автора, что он выставляет на вид такие черты, которые происходят от бедности обстановки, и при этом как будто намеренно приводит цинические подробности и обращает их в какое-то обличение кадничан в непристойности. На деле автор умолчал некоторые подробности и сказал только то, что нужно было, чтобы дать читателю понятие о сценических приемах описанных им увеселений: без того описание осталось бы одним непонятым этнографическим намеком; его собственные впечатления объясняют, как эти сценические приемы кажутся постороннему наблюдателю, и следовательно они опять излишние в рассказе... Но сущность дела, для критика, очевидно не в них, а в том, зачем-де вообще изображать такие грубые вещи. Критик очевидно желает *приличной* этнографии, которая бы описывала ему чистоту семейного начала и удаляла всякие черты, разрушающие его идиллические представления о народной жизни. Картины нашего автора в сущности невеселы, — критик это, вероятно, понимает, но эти картины ему не нравятся и он — обвиняет автора в наклонности к скандалу, в грязном воображении. Что же, действительно надо скрывать эти картины и не смущать вкуса благовоспитанного читателя?

Нет, к сожалению, действительность народной жизни бывает и такова, и вещи, рассказанные нашим автором, правдиво передают бедность жизни, которая отражается не только в материальных неудобствах, замене бани печью и т. п., но и в народной фантазии и увеселениях, принимающих самые грубые формы, а вместе с тем, конечно, и на всем складе народных понятий. Бедность жизни и грубость вкусов и понятий таковы, что обыкновенное деревенское увеселение, в котором участвуют охотники и молодежь, даже дети, всей деревни, — это увеселение критик «Дня» приравнивает к нравам подозрительных домов, — сам не чувствуя, что этим сравнением он оскорбляет народную жизнь гораздо больше, чем наш автор, рассказывающий ее сцены. Мы знаем положительно, что тот же характер народных увеселений можно встретить и во многих других местах, например в Новгородской губернии. Что рассказанное нашим автором вовсе не есть исключение, об этом критик «Дня» может справиться у всякого человека, знающего несколько хорошо народную жизнь.

Этого мало. Кадниковские увеселения составляют такую заметную черту народных нравов, что их возможно было бы проследить даже исторически. Если бы критик «Дня» вздумал взглянуть на дело серьезнее, он поблагодарил бы нашего автора за отчетливое описание кадниковских *игрищ* и *кудес*, потому что в этих кудесах, представляющих, между прочим, грубые попытки самородных сценических представлений, несомненно продолжают те древне-народные, *бесовские*, игрища, против которых древние проповедники восставали еще сильнее, чем критик «Дня», и которые, как очень хорошо известно, отличались положительной непристойностью. Очевидно, что сцены, описанные нашим автором, весьма похожи на ту картину древних праздников (во Пскове), где являлись на сцену «бубны», «сопели» и тому подобные музыкальные инструменты, и где происходило «женам и девам плескание и плясание, неприязнен клич и вопль,

всескверненные песни, и хребтом их вихляние, ту же мужем и отроком великое прельщение, женам мужатым беззаконное осквернение», и когда, бывало, «мало не весь град взмятется и взбесится» (Дополн. к акт. историч. 1, № 22). Критик «Дня» не станет отвергать, что, если в празднестве этого свойства участвовал «мало не весь град», празднество было общенародным, а не «специальным» увеселением. Такое же общедеревенское увеселение, только преимущественно предоставленное молодежи, составляют и кадниковские игрища. Если в кадниковской *трущобе* игрища имеют несколько нескромный характер, шокирующий благовоспитанного критика, то мы должны еще больше огорчить критика замечанием, что *трущоба* без сомнения потому так и непристойна в этом случае, что вернее сберегла настоящую, неподдельную русскую старину, в которой, как ясно видно из приведенной сейчас выписки, чистота семейного начала нарушалась в народных праздниках самым прискорбным образом.

Критику останется одно: утверждать, что старинный проповедник просто попал на псковский шпиц-бал и что он просто захотел «всю ширь этнографии приравнять исключительно скандалу»; но мы и здесь уличим критика в невежестве, так как несомненно, что шпиц-балы — изобретение западное, что они могли явиться у нас только после Петра Великого, в «петербургский» период, и таким образом празднества, описанные псковским проповедником, очевидно должны быть признаны вполне национальными. Характер древних русских празднеств этого рода хорошо, впрочем, известен; начиная со старейших летописей и до самого конца XVII столетия мы имеем целый длинный ряд строгих обличений, направленных против этих увеселений, которые обращали на себя внимание и иностранных путешественников. Олеарий даже приложил к своей книге картинки, на которых изображаются сцены народных увеселений, не показывающие особенной идиллической невинности нравов. Правительство в XVII столетии вооружалось административными мерами против испорченности нравов, которая — повторим опять — на общенародных увеселениях вроде святочных праздников имела случай обнаруживаться особенно ярко.

Откуда же такое извращение нравов или такая грубость увеселений? Древние проповедники объясняли ее язычеством, которое могло научить людей только «бесовскому» препровождению времени. Но грубость продолжалась и после падения язычества; иные формы этой грубости изменились, степень ее могла, пожалуй, и понизиться, но она все-таки оставалась весьма значительна и остается до сих пор, как видно из примера кадниковских игрищ. Основание ее, конечно, заключается, во-первых, в бедности материальной, а, во-вторых, в бедности развития. Наша археологическая и приличная этнография не замечала обыкновенно этого обстоятельства, которое между тем кладет самую резкую печать на все народные представления, и благоразумный наблюдатель, вместо того, чтобы сочинять идиллические картины народных нравов, конечно не оставит без внимания этой черты народного быта, которая должна бы стать серьезным общественным вопросом. Где искать средства помочь делу?

Если для газеты «День» все кажется решенным и несомненным, то пусть она, как газета, имеющая все-таки репутацию «почтенной» и «искренней», выучится по крайней мере понимать в других возможность другого мнения, и прежде чем перетолковывать слова и вопиять о скандале, постарается понять, в чем состоят чужие мнения. Иначе, можем заверить газету «День», она сама вовсе не далека от той затхлои благонамеренности, на которую теперь так усердно нападает. Зачем еще «Дню» присоединяться к той фаланге, которая и без того уже слишком заботливо старается об однообразии мнений?

Х. Ф. Фермойлен

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ПОНЯТИЯ VOLKERKUNDE (1771—1843)

(Возникновение и развитие понятий
«Volkerkunde», «Ethnographie»,
«Volkskunde» и «Ethnologie»
в конце XVIII и начале XIX веков
в Европе и США)¹

Вопреки распространенному мнению о молодом возрасте этнографии, наука о народах не так уж молода. Если согласиться с утверждением, что она уже существовала, когда были сформулированы ее названия — этнография и этнология, тогда можно отнести возникновение этой дисциплины к концу XVIII века. На конференции в Мюнхене в октябре 1991 г. я показал, что термины *Volkerkunde* и *Ethnographie* появились в Геттингене в 1771 году. Их предложил немецкий историк и лингвист проф. А. Л. Шёльцер. Термин *Volkskunde* впервые появился в 1782, также в Геттингене. Термин *Ethnologie* возник в 1783 в Вене, чуть позже, в 1787, — в Лозанне (Швейцария) и Галле (университетский город в Восточной Германии). Таким образом, мы пришли к выводу, что научная дисциплина, получившая названия «этнология» или «этнография» (переводы на греческий немецких понятий *Volkerkunde* и *Volkskunde*), оформилась в 1771—1787 гг. как характерная для эпохи Просвещения попытка упорядочить накопленные данные о народах (*die Völker*), которая была сделана на основе прежних исследований, потребовавших теоретического пересмотра.

Откровенно говоря, это «еретическое» суждение. Обычно полагают, что антропология — это сравнительное изучение различных обществ, начало которому было положено в середине XIX в. трудами Тайлора, Моргана, Макленнана и Бастиана. Этот взгляд разделяет большинство антропологов во всем мире; на нем же строятся университетские курсы антропологии. Согласно другому мнению, распространенному, главным образом, среди историков науки, антропология обрела свою самостоятельность как научная дисциплина в 1830-х и 1840-х годах с появлением специальных этнографических музеев и организацией в 1839—1843 гг. первых этнологических обществ. Сторонники этого взгляда подчеркивают также, что кафедры этнографии начали создаваться в университетах в конце XIX и начале XX вв.

Несмотря на то, что подобные выводы отличаются завидной определенностью, я бы сказал, что предложенные в них датировки все же не точны и не дают представления о предшествующем ходе развития дисциплины. Так, есть основания считать, что Тайлор и Морган не занимались исключительно «другими» обществами, а смотрели более широко, уделяя внимание и западным, «развитым» обществам, хотя и Тайлор, и Бастиан основывали свои работы на исследованиях, часть которых была сделана веком раньше. Поэтому я предлагаю рассмотреть более детально период, когда еще не были опубликованы сочинения «отцов-основателей» антропологии, т. е. конец XVIII и начало XIX в. Это расширит временные границы и поможет лучше понять происходившее в дальнейшем — в конце XIX и начале XX в.

В такой расширенной перспективе можно историографически оценить антропологию, т. е. рассмотреть возникновение и развитие основных понятий, которыми пользуется эта наука. Хотя анализ истории понятий (*die Begriffsgeschichte*) представляет немалые трудности, все же очевидно, что он имеет большой исследовательский потенциал, особенно если рассматривать историю научных концепций как отражение более широких общественных процессов.